### Министерство образования Российской Федерации

### Санкт-Петербургская Лесотехническая академия им. С. М. Кирова

### Реферат по дисциплине: философия

# «Суицид, как социально-философская проблема»

Выполнила: студентка ФЭУ, II курса, 4 группы

## Гузеева Ольга

#### Преподаватель: А. П. Заостровцев

Санкт-Петербург

2002 год

# Оглавление:

Вступление. 3

Отношение различных религий к самоубийству. 4

Христианство. 4

Иудаизм. 5

Ислам. 6

Индуизм и буддизм. 8

Отношение к суициду философов разного времени. 12

Античная философия. 12

Философия Средневековья. 15

Философия Нового времени. 17

Причины, побуждающие к самоубийству. 21

Общественные причины. 22

Психологические причины. 24

Суицидальная Россия: история и современность. 27

Заключение. 30

Список литературы. 32

#  Вступление.

Мало кто знает, что только в Петербурге количество официально зарегистрированных смертей от суицида в два раза превышает число смертных случаев в результате дорожно-транспортных происшествий. Сегодня Россия занимает второе место в мире по количеству суицидов. Лидирует в этом страшном списке Литва. Причём сейчас специалисты говорят уже об эпидемии самоубийств в нашей стране. Существует так называемый эпидемический порог, который составляет 9 самоубийств в год на 100 тысяч человек. Если эта цифра перекрывается реальными показателями, то медики говорят о наступлении эпидемии. По данным статистики, сегодня в нашей стране зарегистрирован уровень суицидов в 64 человека на 100 тысяч.

По последним прогнозам Всемирной организации здравоохранения, к 2020 году смертность от суицида опередит смертность от рака и выйдет на второе место после сосудистых заболеваний в списке ведущих «убийц» планеты.

На мой взгляд, есть повод задуматься, что происходит на планете Земля. Создаётся впечатление, что она устала носить на себе людей. Вот закончился XX век, который называют веком со­циальных революций и веком технического прогресса, веком космоса и веком атома, веком мировых войн и веком массовой культуры. Все это, конечно, так, но ведь самое важное — не то, что происходит вокруг нас, а то, что творится в нашей душе.

В душе человека в XX веке произошло вот что: ог­ромное и постоянно увеличивающееся количество лю­дей в разных частях планеты перестали хотеть жить. Главный титул прошлого столетия должен бы звучать так: век самоубийств. Изменится ли что-нибудь в новом?

Для того чтобы начать исследование этой проблемы необходимо определить само понятие самоубийство. Оно было точно и исчерпывающе сформулировано Эмилем Дюркгеймом сто лет назад. «Самоубийством называется всякий смертный случай, являющийся непосредственным или опосредованным результатом положительного или отрицательного поступка, совершённого самим пострадавшим, если этот пострадавший знал об ожидавших его результатах». Здесь существенен каждый из трех компонентов.

"Сознательное" и "намеренное" в данном случае не синонимы. Намерение выбрасывающегося на берег кита сомнений не вызывает, но говорить о сознательности этого поступка у нас нет оснований, поскольку нас учи­ли, что животные сознанием не обладают. Возможно, некий мощный, но вероломный инстинкт подсказывает киту, что на берегу его ожидает нечто неописуемо при­ятное, а вовсе не острые камни и тесаки охотников за ворванью.

Наконец, уточнение о "быстром" лишении себя жиз­ни понадобилось для того, чтобы отделить суицид от су­ицидального поведения, которому подвержено большин­ство людей, ибо современная суицидология относит сюда и выбор сопряженной с риском профессии (гонщик, аль­пинист, полицейский, военный), и наркоманию, и алко­голизм, и курение, и даже несоблюдение диеты. Все эти люди (процентов этак девяносто от населения планеты) совершают медленное самоубийство, отлично зная, что гоночные машины разбиваются, капля никотина убива­ет лошадь, пьянство приводит к циррозу, соль — это "белая смерть".

# Отношение различных религий к самоубийству.

## Христианство.

В Священном Писании прямого осуж­дения самоубийства не содержится, если не считать двух мест — одного в Ветхом Завете и одного в Новом, кото­рые при желании можно истолковать, как запрещающие своевольничать с жизнью и смертью. Во "Второзаконии" Господь произносит: "Я умерщвляю и оживляю, Я по­ражаю и Я исцеляю, и никто не избавит от руки Моей" (XXXII, 39). А в "Первом послании к коринфянам" Па­вел говорит: "Разве не знаете, что вы храм Божий, и Дух Божий живет в вас? Если кто разорит храм Божий, того покарает Бог: ибо храм Божий свят; а этот храм — вы" (III, 16—17).

Впрочем, грозные слова ветхозаветного Бога скорее относятся к перечислению атрибутов Его могущества, и смысловое ударение здесь делается не на местоимении "Я", а на глаголах. Что же до слов апостола Павла, то в них, пожалуй, все-таки имеется в виду не физическое разрушение тела, а разорение собственной души, кото­рое происходит как раз при жизни.

В Библии можно найти семь случаев очевидного са­моубийства, и ни в одном из этих описаний нет оттенка порицания.

Первый из библейских самоубийц — Авимелех, сын царя Гедеона, умертвивший 70 своих братьев и смер­тельно раненный при осаде Тевеца — одна из жительниц осажденного города бросила в него с башни обло­мок жернова. "Авимелех тотчас позвал отрока, оруже­носца своего, и сказал ему: обнажи меч свой и умертви меня, чтобы не сказали обо мне: женщина убила его. И поразил его отрок его, и он умер" (Суд. IX, 54). Библия осуждает злодеяния Авимелеха, но отнюдь не его само­убийство.

Следующий самоубийца, Самсон, и вовсе восхваляет­ся как герой. Захваченный филистимлянами, ослеплен­ный и лишенный своей чудодейственной силы, он обру­шил на головы врагов крышу дома и погиб под обломка­ми вместе с ними. "И сказал Самсон: умри, душа моя, вместе с Филистимлянами! И уперся всею силою, и об­рушил дом на владельцев и на весь народ, бывший в нем. И было умерших, которых умертвил Самсон при смерти своей, более, нежели сколько умертвил он в жизни сво­ей" (Суд. XVI, 30). В этих словах звучит явное одобрение поступку богатыря, да и апостол Павел, который якобы осуждает самоубийц, перечисляет Самсона среди проро­ков, "которые верою побеждали царства, творили прав­ду, получали обетования" (Евр. XI, 33).

В "Первой книге Царств" описано самоубийство царя Саула и его оруженосца. Потерпев поражение от филис­тимлян и потеряв в бою троих сыновей, раненный стре­лами царь велел оруженосцу заколоть его мечом. "Но оруженосец не хотел, ибо очень боялся. Тогда Саул взял меч свой и пал на него. Оруженосец его, увидев, что Саул умер, и сам пал на свой меч и умер с ним" (XXXI, 4-5).

Ахитофел, неверный советник царя Давида и участ­ник заговора Авессалома, покончил с собой, когда царе­вич пренебрег его планом мятежа. "И увидел Ахитофел, что не исполнен совет его, и оседлал осла, и собрался, и пошел в дом свой, в город свой, и сделал завещание дому своему, и удавился, и умер, и был погребен в гробе отца своего" (2 Цар. XVII, 23). Опять простая констата­ция, без какой-либо моральной оценки.

Последний из ветхозаветных самоубийц — иудейс­кий старейшина Разис — предпочитает смерть позору пленения. В Писании звучит несомненное восхище­ние:

"Когда же толпа хотела овладеть башнею и врыва­лась в ворота двора, и уже приказано было принести огня, чтобы зажечь ворота, тогда он, в неизбежной опасности быть захваченным, пронзил себя мечом, желая лучше доблестно умереть, нежели попасться в руки беззаконников и недостойно обесчестить свое благородство. Но как удар оказался от поспешности неверен, а толпы уже вторгались в двери, то он, от­важно вбежав на стену, мужественно бросился с нее на толпу народа. Когда же стоявшие поспешно рас­ступились, и осталось пустое пространство, то он упал в середину на чрево. Дыша еще и сгорая негодовани­ем, несмотря на лившуюся ручьем кровь и тяжелые раны, встал и, пробежав сквозь толпу народа, остановился на одной крутой скале. Совершенно уже ис­текая кровью, он вырвал у себя внутренности и, взяв их обеими руками, бросил в толпу и, моля Господа жизни и духа опять дать ему жизнь и дыхание, окон­чил таким образом жизнь" (2 Мак. XIV, 41-46).

В Новом Завете самоубийца всего один, зато знаме­нитейший из всех и даже давший впоследствии назва­ние самому явлению — "иудин грех". Если оставить в стороне позднейшие богословские интерпретации само­убийства Иуды Симонова из Кариота и обратиться не­посредственно к тексту Писания, мы увидим, что еван­гелист отзывается о смерти предателя лаконично и бес­страстно: "И, бросив сребреники в храме, он вышел, пошел и удавился" (Мф. XXVII, 5). То, что Иуда уда­вился, — не новое преступление, а свидетельство раска­яния в содеянном. В словах же Петра (Деян. I, 18), рас­сказывающего ученикам об иудиной участи, звучит гад­ливость ("и когда низринулся, расселось чрево его, и выпали все внутренности его") и осуждение предатель­ства — но не осуждение самоказни.

## Иудаизм.

Отношение к самоубийству другой религии того же корня, иудаизма, носит негативный характер, но без запугива­ния, свойственного воинственному и агрессивному исто­рическому христианству. Ни в Библии, ни в Талмуде суицид как таковой не осуждается. Наоборот, как сказано выше, некоторые самоубийцы (Самсон, Разис) прославляются как герои, и, в отличие от позднего хри­стианства, иудаизм не пытался впоследствии пересмот­реть свое отношение к альтруистическому самоубийству — для него было сделано исключение. В древности существовал обычай, согласно которому самоубийц не хоронили до захода солнца, о чем пишет Иосиф Флавий. Однако законодательно запрет на добро­вольный уход из жизни был оформлен лишь в посттал­мудический период и наиболее полно изложен в трактате "Семахот", классическом тексте, посвященном смерти и трауру. Самоубийство рассмотрено во второй главе "Семахота" — там же, где идет речь о казненных преступни­ках. Самоубиение названо худшим из грехов, еще более тяжелым злодеянием, чем убийство, ибо самоубийца отвергает Божий суд и пренебрегает правом на грядущую жизнь. Вместе с тем преступления этого рода считались подсудными не людям, а Богу — то есть не земному суду, а небесному. Попытка самоубийства карается мягко — бичеванием. Если же грешник осуществил свой замысел до конца, ему не мо­жет быть отказано в траурном обряде, но церемония от­правляется в усеченном виде: сочувствие и уважение дол­жно выказывать по отношению к родственникам усоп­шего, но не по отношению к самому покойнику.

Официально признанных самоубийц в еврейской об­щине было очень мало, потому что малейшее сомнение в злонамеренности предписывалось трактовать в пользу умершего. В "Семахоте" сказано:

"Кто ж свершает самоубийство в здравом рассуд­ке? Если человек залез на дерево или на крышу и разбился насмерть, это еще не самоубийство, а само­убийством его смерть будет признана, лишь если пе­ред этим он сказал "вот, лезу на дерево или на кры­шу и оттуда брошусь вниз", а затем поступил по сво­ему слову при свидетелях... Тот же, кого нашли повесившимся или бросившимся на меч, будет признан умертвившим себя в помрачении рассудка". Самоубийства несовершеннолетних, психически неуравновешенных и впавших в исступление из катего­рии преступления исключались.

Талмудический закон позволяет еврею убить себя, если иначе он может впасть в грех идолопоклонства, убийства или прелюбодеяния (последняя индульгенция предназначена для женщин, которым угрожает насилие). В средние века групповое самоубийство совершали це­лые иудейские общины, которым грозило насильствен­ное крещение. Самый известный инцидент — доброволь­ная смерть 500 йоркских евреев в 1190 году. Извини­тельными считались и те суицидальные случаи, которые можно было уподобить Сауловой участи: безвыход­ная ситуация, в которой самоубийство представляет со­бой всего лишь замену одного способа смерти другим.

Поступок же мужественного Разиса, предпочевшего смерть пленению, не только оправдывался, но и вос­хвалялся. Иудаизм чтит своих мучеников, совершивших самоубийство, не затушевывая обстоятельств их смер­ти, как это делало средневековое христианство.

Крепость Масада, где в 73 году тысяча зелотов совер­шили самоубийство, чтобы не попасть в плен к осаждав­шим их римлянам, считается символом израильского патриотизма и национальной святыней. А почти два тысячелетия спустя главный раввин израильской армии Ш. Горен высказал суждение, что солдат, которому уг­рожает пленение, не только может, но даже обязан себя убить. Чтят иудаисты и память евреев, в знак протеста покончивших с собой в концлагере Треблинка (1943). Это было первым шагом к отчаянному по смелости восста­нию: самоубийство — это акт свободы.

Первые статистические сведения о самоубийстве сре­ди евреев относятся ко второй половине XIX века. Тогда в Восточной и Центральной Европе ассимиляци­онные процессы (за исключением Германии) еще не раз­вились в полной мере. В наше время проводить подоб­ные исследования имело бы смысл только в Израиле, поскольку в прочих странах евреи (даже те, которые соблюдают религиозные обряды) не представляют собой обособленной группы населения. На суицидальной ди­намике ассимиляция отразилась не самым благоприят­ным образом: если в западно-русских и австро-венгерс­ких еврейских общинах прошлого века уровень само­убийств был очень низким — в среднем вчетверо ниже, чем у католиков и православных, то в современном за­падном обществе (например, в США) уровень самоубийств у иудаистов так же высок, как у протестантов, и в несколько раз выше, чем у католиков. Отчасти это объяс­няется тем, что евреи чаще занимаются профессиями высокого суицидального риска: искусством, бизнесом, наукой. Во всяком случае, влияние иудейской религии как сдерживающего антисуицидального фактора не слишком эффективно. Как и протестантизм, иудаизм делает упор на личную ответственность и рациональ­ность, что повышает вероятность суицидного исхода.

## Ислам.

Ислам, еще одна религия того же ближневосточного корня, относится к самоубийству с осуждением, одна­ко, как и иудаизм, признает смягчающие обстоятель­ства. Корни этой не декларируемой, но практикуемой толерантности восходят к эллинистической эпохе и к философии стоицизма, утверждавшей, что смерть пред­почтительнее страданий и бесчестья. Исторический ис­лам вообще гораздо терпимее и снисходительней к чело­веку, чем историческое христианство, слишком озабо­ченное идеей власти и экспансии. Как писал В.Соловь­ев: "Ислам — это последовательное и искреннее византийство, освобожденное от всех внутренних противоре­чий. Он представляет собой открытую и полную реак­цию восточного духа против христианства, систему, в которой догма тесно связана с законами жизни, в кото­рой индивидуальное верование находится в совершен­ном согласии с политическим и общественным строем". Если мусульманский закон и порицает самоубийство, то не столько в силу религиозных установлений (хотя фор­мально они присутствуют), сколько из соображений че­ловечности — как противоестественный акт, которого следует всемерно избегать, хотя это, к сожалению, не всегда возможно. Если говорить о религиозном аспекте этого деяния, то, с точки зрения ислама, преступность суицида заключается в том, что человек смеет проти­виться своей судьбе, которая предопределена ему Алла­хом, и тем самым добровольно отказывается от Рая. На­казанием грешнику будет Ад, где ему придется вновь и вновь совершать свое злое деяние. В подтверждение при­водятся слова Пророка: "Человек умирает по воле Бога, согласно книге, в которой отмечен срок его жизни. Ког­да придет конец, он не сумеет ни замедлить, ни уско­рить его ни на одно мгновение".

Однако эти слова нельзя трактовать как прямой зап­рет самоубийства. Такого табу в Коране вообще нет. Иногда ссылаются на призыв из суры "Женщины": "О вы, которые уверовали! Не пожирайте имуществ ваших между собой попусту, если только это не торговля по взаимному согласию между вами. И не убивайте самих себя. Поистине, Аллах к вам милосерд!" (33/29). Но среди толкователей преобладает точка зрения, что "не убивай­те самих себя" здесь, вероятнее всего, означает "не уби­вайте друг друга". Вместе с тем в Коране есть по мень­шей мере два места, которые звучат как поощрение са­моубийства. В той же суре читаем: "А если бы Мы пред­писали им: "Убейте самих себя или выйдите из ваших обиталищ!" — то сделали бы это только немногие из них". (69/66). В суре "Корова", где пересказывается история пророка Моисея, говорится: "И вот сказал Муса своему народу: "О народ мой! Вы сами себе причинили несправедливость, взяв к себе тельца. Обратитесь же к вашему Творцу и убейте самих себя..." (51/54).

Как и в иудео-христианстве, в исламе религиозный запрет на самоубийство возник не сразу и опирается не на священный текст Книги, а на суждение толковате­лей и вероучителей. В хадисах, то есть посткоранских преданиях о словах и деяниях Пророка, можно найти недвусмысленные угрозы в адрес тех, кто совершает интихар (по-арабски это слово первоначально означало "самоумерщвление посредством взрезания горла", одна­ко позднее стало термином, обозначающим любой вид суицида). В одном из хадисов Пророк говорит: "Убивший себя железом будет до скончания века таскать на себе в аду орудие преступления. Отравившийся будет вечно пить свою отраву. Спрыгнувший с высоты будет вновь и вновь падать в самую бездну преисподни". Составитель одного из шести "проверенных" сборников сун­нитских хадисов Абу-Дауд (X век) повествует о том, как Мухаммед отказал в погребальных почестях самоубий­це. Приписывают Пророку и такие слова: "В старые вре­мена был некий человек, мучимый болезнью, которая истощила его терпение, и взял он нож, и перерезал себе запястье, и истек кровью до смерти. И сказал на это Гос­подь: "Раб мой ускорил свой конец, нет ему пути в Рай".

Однако в реальности мусульманские общины прояв­ляли снисходительность к самоубийцам и в погребении им не отказывали. Вопрос о том, можно ли читать по­гребальные молитвы над совершившими интихар, об­суждается и поныне. Что же касается мусульманского законодательства, то в нем вопрос о суициде затрагива­ется лишь косвенно: например, как быть с приданым женщины-самоубийцы, если брак еще не вступил в силу, или должен ли нести материальную ответственность че­ловек, вырывший колодец, если в этом колодце утопил­ся самоубийца.

Иногда политические убийства обставлялись так, что­бы смерть врага выглядела, как самоубийство: это не толь­ко спасало убийц от ответственности, но и бросало тень на жертву, поскольку для истинно верующего интихар почитался злодеянием и позором. Так произошло в Стам­буле в 1876 году, когда "новые османы", свергнувшие султана Абдул-Азиза, инсценировали его самоубийство. Арестованный падишах якобы перерезал себе артерию, подстригая бороду маникюрными ножницами. Такая бес­честная смерть должна была устранить со сцены неудоб­ную фигуру, а заодно подтвердить правильность реше­ния шейх-уль-ислама о низложении безбожника. К той же тактике прибегли очернители памяти вольнодумного багдадского поэта аль-Маарри (XI век), распустившие слух о том, что нечестивец якобы наложил на себя руки.

Поэтическая и новеллистическая традиция мусуль­манского Востока, склонная к цветистости и преувели­чению, романтизировала самоубийство, и сделало его одной из самых распространенных метафор в любовной лирике. Иногда к угрозе самоубийства прибегали даже ученые богословы. Известен случай, когда прославлен­ный суфий Абу'ль Хусейн аль-Нури потребовал от само­го Аллаха, чтобы Всевышний каким-нибудь, пусть даже небольшим чудом подтвердил святость своего раба, в противном случае угрожая наложить на себя руки.

Другой богослов, слепой Иса аль-Ираки из Дамаска, действительно совершил самоубийство (1206 г.), и горо­жане отказались молиться за грешника, однако колле­ги самоубийцы были более милосердны и проводили умершего молитвой.

В период наивысшего расцвета исламской культуры самые смелые из философов ставили под сомнение гре­ховность самоубийства. Писатель Абу Хайан ат-Таухи-ди (X век) и его ученики выдвинули концепцию, кото­рая была бы невообразимо дерзкой для средневекового христианства: жизнь человека имеет смысл, только если она добродетельна; недобродетельное же существование равносильно не-жизни, а стало быть, нет никакого гре­ха в том, чтобы добровольно оборвать жизнь неудачную и недостойную.

Примечательно, что в мусульманских странах, несмот­ря на сравнительно мягкое отношение к суициду, ре­альные случаи самоубийств во все времена происходили гораздо реже, чем в агрессивно антисуицидном христи­анском обществе. Эта тенденция еще заметнее в совре­менном мире. Разумеется, бросающийся в глаза пере­пад в статистике самоубийств (в среднем в 3-4 раза) меж­ду странами христианской и мусульманской культуры объясняется и другими факторами (прежде всего соци­альными и общекультурными), но все же факт остается фактом: из трех великих ближневосточных религий по­чему-то именно ислам побуждает человека цепче дер­жаться за свою жизнь.

## Индуизм и буддизм.

Индуизм и буддизм, как и три религии, рассмотрен­ные выше, происходят от одного корня, но объединение их в одной главе объясняется не столько общим происхождением, сколько определенным сходством в трак­товке интересующей нас проблемы. Великие восточные конфессии в гораздо меньшей степени, чем иудаизм, ислам и особенно христианство, озабочены этической оценкой суицида и вообще не склонны рассматривать самоубийство как вопрос первостепенной важности. По­добное хладнокровие объясняется тем, что буддизм и индуизм по-иному относятся к смерти.

Для человека такой культуры, в которой смерть на­ходится за гранью, откуда нет возврата; Страшный Суд далеко, и вердикт его неизвестен; воскресение суждено не каждому — в общем, за гробом человека подстерега­ет неведомое; смерть при этом рассматривается, во-пер­вых, как событие огромной, всё заслоняющей важнос­ти, а во-вторых, как нечто страшное, внушающее ужас.

Обе восточные религии провозглашают повторяемость земных перерождений человека, которому суждено много раз жить и много раз умирать. При этом колесо самсары, череда перевоплощений, — это тяжкое испытание, которое нужно с достоинством выдержать, и тогда, дос­тигнув святости, душа вырвется из порочного цикла и больше не должна будет выносить ни муку новых рож­дений, ни муку новых смертей. Идея реинкарнации, общая для буддизма и индуизма, делает суицид бессмысленным и даже вредным — но не из страха перед Богом, а из вполне рациональных соображений. Добровольно уходящий из жизни ничего не достигнет — карма вновь поставит его в ту же самую ситуацию, ибо человек с ней не справился. Самоубийство все равно не спасет от выпавших на твою долю страданий. Более того, поскольку уровень нынешней инкарнации определен поведением в предшествующем воплощении, эгоистическое самоубий­ство отдаляет от нирваны. Суицид — не выход, но и драматизировать его особенно незачем. Будет другая жизнь, будет другой шанс.

Однако есть ситуации, в которых самоубийство мо­жет продвинуть человека далеко вперед по цепочке пе­рерождений и, возможно, даже разорвать ее вовсе. То есть и индуизм, и буддизм признают, что иногда убивать себя не только извинительно, но даже похвально. Все помнят буддийских монахов, в 60-е годы подвергав­ших себя самосожжению в знак протеста против амери­канской оккупации Вьетнама. Вряд ли эти люди рассчитывали, что своей страшной смертью заставят аме­риканцев вывести войска, но они верили, что актом са­мопожертвования достигнут статуса святости. С этим, кажется, был не согласен нобелевский лауреат и буду­щий самоубийца Кавабата Ясунари, писавший: "Даже если испытываешь глубочайшее отвращение к окружа­ющей реальности, самоубийство все равно — не форма сатори. Самому высоконравственному самоубийце все равно далеко до святого". Но в ответ монахи могли бы сослаться на "Агамасутру", в которой приведены слова Шакьямуни, одобряющего самоубийство одного из сво­их учеников.

Разумеется, говоря об индуизме и буддизме, можно делать только самые широкие обобщения — обе вели­кие восточные религии подразделяются на многочислен­ные ветви, школы, секты, и у каждой своя философско-этическая система, своя традиция, свой ритуал, свое от­ношение к смерти вообще и к самоубийству в частности.

Классический индуизм, самая древняя из существу­ющих религий (три с половиной тысячи лет), наиболее апатичен и пессимистичен. Для него жизнь в любых ее проявлениях — безусловное зло, а смерть, небытие — безусловное благо. Идеальный путь души — как можно быстрее (то есть за минимальное количество перерожде­ний) исполнить свой земной долг и влиться в Великую Пустоту. Высшая из каст, брахманы, терпимы и даже благосклонны к суициду, если он совершен из высших соображений. В "Законах Ману" сказано: "Брахман, без страха и горя освободившийся от своего тела при помо­щи одного из способов, завещанных нам святыми, считается достойным того, чтобы быть допущенным в мес­топребывание Брахмы". Правда, те же законы позволя­ли взыскующему святости уходить из жизни лишь по достижении определенного возраста и только в том случае, если у него есть хотя бы один сын.

С индуизмом связаны два суицидных ритуала, в свое время произведшие глубокое впечатление на европейцев.

Английское слово juggernaut, употребляемое в зна­чении "всесокрушающая махина", произошло от имени бога Джаганнатхи, особой ипостаси Вишну-Кришны. В городе Пури, где находится святилище Джаганнатхи, издавна проводится ратхаятра*,* церемония провезения изваяния на массивной колеснице, которую тянут сот­ни храмовых служителей и паломников. В прежние вре­мена самые истовые из пилигримов в порыве благочес­тия бросались под тяжелые колеса, веря в благость та­кой смерти.

Если случаи добровольной гибели фанатиков под ко­лесами "Джаггернаутовой колесницы", вероятно, про­исходили не так уж часто, то другой индийский обычай — сати (самоубийство вдов) был распространен очень широко. Буквально сати означает "добродетельная жена". Этот обычай уходит корнями в глубокую стари­ну и некогда был распространен у многих древних наро­дов, в том числе у скифов, фракийцев, китайцев. Муж­чинам нравится думать, что они составляют весь смысл существования своих женщин, но у древних было боль­ше возможностей принудить вдову доказать свою лю­бовь и преданность самым радикальным из способов.

Святой Иероним, еще не подозревавший о том, что век спустя церковь начнет кампанию против суицида, восхваляет подобную самоотверженность: "У них (индийцев) есть закон, согласно коему лю­бимая жена должна взойти на костер вместе с усоп­шим супругом. Жены соперничают друг с другом, чтобы завоевать это право, и высшая награда цело­мудрия — быть сочтенной победительницей. Та из жен, что оказалась самой достойной, обряжается в лучшие одежды и ложится рядом с трупом, лобызая и обнимая его. Прославляя чистоту, она презирает бушующее пламя".

Англичане, ведшие непримиримую борьбу против это­го "варварского" обычая, пытались вести статистику сати*.* Самым смертоносным стал 1821 год, когда коло­ниальные власти зарегистрировали 2366 случаев самоубийства. Несмотря на законодательные запреты, обы­чай сохранился в Индии и поныне, только теперь вдова не бросается в огонь, а устраивает самосожжение у себя дома, облившись бензином...

Китайцы восприняли пришедший из Индии буддизм с существенными корректировками, обусловленными спецификой национального характера и культуры. Уче­ние Будды мирно уживалось с конфуцианством и дао­сизмом. Культ предков делал мир мертвых близким и по-родственному нестрашным, а смерть воспринималась как трудное, но не лишенное приятности путешествие, в конце которого умершему гарантирована встреча с дорогими его сердцу людьми. Китайскую культуру от­личает "домашнее", даже какое-то уютное отношение к смерти. Вспоминать о ее неотвратимости совсем не страш­но — скорее наоборот. Вполне уместно подарить гроб тяжело больному другу или престарелому родителю — конечно, если подарок красивый и дорогой. Похорон­ный обряд похож на праздник, особое значение прида­ется его пышности. Старый советский анекдот о месте, освободившемся на Новодевичьем кладбище (умереть необходимо сегодня же, не то участок перехватят), зву­чит вполне по-китайски.

В Китае самоубийство считалось вполне достойным выходом из тяжелой или позорной ситуации, однако китайцам было далеко до средневековых японцев, возведших суицид в ранг наивыс­шей доблести и желаннейшего из видов смерти.

Японская разновидность буддизма жестче, мужествен­нее и мрачнее, чем буддизм континентальный. Это объяс­няется не только влиянием пресловутого "японского духа", но и "разделением функций", сложившимся меж­ду двумя японскими конфессиями, буддизмом и синто­измом, которые отлично ладят друг с другом. Нацио­нальная религия островитян охотно потеснилась, отдав под юрисдикцию чужеземного учения все связанное с горем и смертью, себе же оставила лишь те стороны человеческого бытия, которые связаны с жизнью и радос­тью. Синто — самая жизнеутверждающая из всех рели­гий, в ней заложено изначальное неприятие смерти. В синтоистской мифологии описано, как бог Идзанаги, подобно Орфею, отправился в царство мертвых за своей умершей супругой богиней Идзанами. Когда Идзанаги увидел гниющий, разлагающийся труп жены, он в ужа­се бежал из мира мертвых, завалил вход камнями и со­вершил обряд очищения. В мире нет другой религии, которая относилась бы к небытию с таким отвращени­ем, как синтоизм. Он просто отказывается признавать существование смерти.

Буддизм, в свою очередь, охотно предоставил тузем­ной религии заниматься свадьбами и танцами, забрав себе похороны и бдения, ибо тот, кто владеет смертью, владеет и жизнью. Дзэн, буддизм прямого действия, был взят на вооружение самурайским сословием и доведен до своего логического завершения: лучший воин — тот, кто не боится смерти; смерти не боится тот, кто не боит­ся верной смерти; самая верная смерть — это не смерть в бою (где можно и уцелеть), а смерть от собственной руки. Стало быть, высший разряд смерти — суицид. А для того чтобы воины не переубивали себя, возник це­лый кодекс самоубийства, введший сложную систему запретов, ограничений и ритуалов.

С точки зрения суицидологии главное отличие вос­точных религий (то есть индуизма и буддизма) от рели­гий западных (христианства, ислама и иудаизма) зак­лючается в том, что самоубийство не имеет стигмы греховности. Это серьезный аргумент против "нравствен­ного закона", отвергающего суицид. Если половина че­ловечества в течение многих веков не считала суицид преступлением против Бога, то, может быть, Бог (нрав­ственный закон, природа) самоубийц вовсе не отверга­ет? Что если наш пресловутый "нравственный закон" — всего лишь голос подсознания, которое, как известно, формируется под влиянием взрастившей нас культуры (в данном случае христианской, а стало быть, антисуицидной)? Ведь не может же современный человек, хоть бы даже и исповедующий христиан­ство, быть до такой степени высокомерно-европоцентричным, чтобы признавать истинность только своей веры и только своей нравственной системы?

# Отношение к суициду философов разного времени.

## Античная философия.

В античном обществе отношение к суициду менялось от терпимого и, в отдельных случаях, даже поощритель­ного в ранних греческих государствах к законодательно закрепленному запрету в поздней римской империи.

Государственные мужи Древней Греции признавали за гражданами право на уход из жизни лишь в некото­рых случаях. Часто разрешение на самоубийство дава­лось осужденным преступникам (вспомним историю Сократа). Самоубийство, совершенное без санкции влас­тей, строго осуждалось и каралось посмертным поноше­нием: в Афинах и Фивах у трупа отсекали руку и хоро­нили ее отдельно. Известна история спартанца Аристодема, искавшего и нашедшего гибель в Платейской бит­ве. В отличие от летчиков-камикадзе и Александра Матросова, он удостоился не почестей за героизм, а хулы и осуждения.

Вместе с тем в той же Спарте чтили память само­убийцы Ликурга, которого следовало бы поставить в пример политикам последующих веков. Прославленный законодатель отправился к дельфийскому оракулу, взяв с сограждан клятву жить по введенным им законам, пока он не вернется. Когда оракул одобрил нововведения реформатора, Ликург уморил себя голодом, чтобы свя­занные словом спартанцы продолжали жить по его правде и дальше.

В Афинах и ряде других городов имелся особый за­пас яда для тех, кто желал уйти из жизни и мог обосно­вать свое намерение перед ареопагом. Читаем у Либания: "Пусть тот, кто не хочет больше жить, изложит свои основания ареопагу и, получивши разрешение, покидает жизнь. Если жизнь тебе претит — умирай; если ты обижен судьбой — пей цикуту. Если сломлен горем — оставляй жизнь. Пусть несчастный расскажет про свои горести, пусть власти дадут ему лекарство, и его беде наступит конец".

Итак, государство уже вторглось в область сокровен­ной и окончательной свободы, но пока еще ведет себя деликатно и Снисходительно — разумеется, лишь по отношению к полноправным гражданам, поскольку рабам свободы не полагалось вовсе.

В Риме, особенно после создания империи, строгость закона по отношению к mors voluntaria ("добровольная смерть") усугубилась. В кодексе императора Адриана (II век) ле­гионеру за попытку самоубийства полагается смертная казнь: "Если солдат попытается умертвить себя, но не сумеет, то будет лишен головы". А дальше следует ха­рактерная оговорка: "...в том случае, если только при­чиной тому не были невыносимое горе, болезнь, скорбь или иная подобная причина". Далее названы и иные смягчающие вину мотивы: "усталость от жизни, безу­мие или стыд". Даже с учетом смертной казни для са­моубийц, не подпадающих под вышеуказанные категории, а они допускают самую либеральную интерпретацию, то получается, что во времена Адриа­на право относилось к несчастным самоубий­цам куда гуманнее, чем европейское законодательство XIX столетия — во всяком случае, признавало наличие обстоятельств, оправдывающих суицид. В "Дигестах" Юстиниана, классическом своде римского права (VI век), осуждается только самоубийство "без причины", ибо "тот, кто не жалеет себя, не пожалеет и других". "Не следует также предавать погребению тех, кто повесился или иным образом наложил на себя руки не вследствие не­выносимости жизни, а по своей злой воле", — гласит закон. "Невыносимость жизни" — это еще либеральнее, чем трактовка Адриана. Правда, поблажки для солдат в кодексе Юстиниана отменяются — по тяжести преступ­ления попытка самоубийства приравнивается к дезер­тирству.

Но, как и в Греции, относительная свобода распоря­жаться если не собственной жизнью, то собственной смертью предоставлялась только свободным жителям империи. Самоубийство раба влекло за собой показатель­ные акции устрашения. Чтобы при продаже живого то­вара покупателю не подсовывали рабов со скрытым бра­ком — склонностью к депрессии, — существовал специ­альный закон, предусматривавший нечто вроде "гаран­тийного срока": если купленный раб кончал с собой в течение 6 месяцев после заключения сделки, продавец был обязан вернуть покупателю полученные деньги.

Государство могло себе позволить двойной стандарт по отношению к суициду до тех пор, пока рабы счита­лись недочеловеками, однако после того, как христиан­ство приобрело статус официальной религии, возникла насущная потребность в унификации. Положение усугублялось тем, что в позднеримской империи самоубий­ства рабов необычайно распространились и стали при­обретать черты эпидемии. Трудно запугать человека, решившего покончить счеты с жизнью, посмертным глумлением над его бренными останками или мучительной казнью — это лишь понуждает самоубийцу выби­рать более надежный способ самоумерщвления. Пона­добились меры более эффективные и кардинальные. Их предоставила в распоряжение государства христианская церковь.

Если светская власть лишала человека свободы лишь в его физической ипостаси и только на период его земной жизни, то власть церковная давала возможность стреножить и душу, ибо юрисдикция религии простира­лась и в жизнь загробную.

Наступила эпоха, когда человек был неволен распо­ряжаться ни своим телом, ни своей душой. И продол­жалось это больше тысячи лет.

"Линия защиты" на судебном процессе над суицидом выстраивалась тысячелетиями. Первым и, пожалуй, са­мым именитым адвокатом самоубийства был строгий ра­ционалист Сократ. Взгляды философа известны нам глав­ным образом из пересказа Платона, который к самоубий­ству относился резко отрицательно, но тем не менее зву­чат эти доводы убедительно, и их весомость еще более подчеркивается тем, что произнесены они перед чашей с цикутой. То, что смерть Сократа была не казнью, а именно добровольным уходом из жизни, до­казывает сам философ, сказавший, что ему ничего не стоило опровергнуть вздорные об­винения судей, но он не пожелал этого делать. Его прощальные слова, обращенные к суду, свидетельствуют, что смерть он привет­ствует как благо: "Но уже пора идти отсюда, мне — чтобы умереть вам — чтобы жить, а кто из нас идет на лучшее, это никому не ведомо, кроме бога".

Впрочем, Платон вкладывает в уста Сократа слова, сводящие на нет пра­вомочность этого довода.

Первая разработанная аргументация, целая этичес­кая система, оправдывающая самоубийство, была создана стоической школой. Разумность и нравственность — не­пременные условия жизни достойного человека. Если в силу каких-либо причин жить разумно и нравственно сделалось невозможно, следует умереть. Благо — не про­должительность жизни, а ее качество. Страха нет, ибо человеку нечего бояться — он хозяин своей судьбы. Со­блазнительная формула стоицизма: достойная жизнь и достойная смерть. И неминуемый вывод: достойно жить трудно, достойно умереть легко.

Вроде бы всем хорош стоицизм, только, с точки зре­ния современного человека, слишком уж легко готов расстаться с жизнью. Хочется думать, что со времен Стои она все-таки поднялась в цене.

Смерть Клеанфа, ученика и преемника основателя стоицизма Зенона, оставляет чувство некоторого мораль­ного дискомфорта. Когда философ заболел, врачи посоветовали ему воздержаться от приема пищи. Клеанф двое суток ничего не ел, и ему стало лучше — опас­ность миновала. "Он же, — пишет Плутарх, — изведав уже некую сладость, порождаемую угасанием сил, при­нял решение не возвращаться вспять и переступил тот порог, к которому успел уже так близко придвинуть­ся". Что-то здесь все-таки не так. Возможно, стоицизм — отличная философия смерти, но вряд ли стоит пре­подавать ее в школах в качестве философии жизни.

Воззрения на суицид эпикурейцев сходны со стоичес­кими, хотя две эти философские школы несколько ве­ков оппонировали друг другу по целому ряду основопо­лагающих вопросов — главное различие именно в том, что эпикуреизм-то как раз в первую очередь учит пра­вильно жить. И, что существенно, жить счастливо. Уче­ние Эпикура в его этической части как нельзя лучше соответствует мировоззрению современного человека. Эпикуровская формула бытия обаятель­на (жить благородно и весело), желания оспаривать ее не возникает. Прославленное бойкотирование смерти ("Смерть нас не касается: когда мы есть — нет ее, а когда она приходит, то исчезаем мы"), пожалуй, звучит несколько легкомысленно, но к основным постулатам этики Эпикура трудно не прислушаться:

* Боги (Бог), возможно (и даже почти наверняка), есть, но им (Ему) не до человека, а стало быть, и человеку не должно быть до них (Него) дела. Надейся не на Него, а на себя.
* Жить надо в мире с собой, по возможности абстра­гируясь от внешних условий.
* Правильная жизненная установка — безмятежность духа и свобода от страха перед миром и смертью.

Замечательно сказано: "Не сдавайся ни судьбе, ни чему-либо друго­му. Но когда явится необходимость расстать­ся с жизнью» то смело отрешись от нее и от всех, кто по пустоте скован ею; мы выйдем из жизни с прекрасными словами на устах и воз­гласим: "Хорошо мы пожили!" (Эпикур).

Противоположной точки зрения придерживались Платон и Аристотель (позднейшие оппоненты суицида, в том числе и отцы церкви, строили свою систему доказательств, используя их наследие).

Платон поставил перед собой очень сложную задачу: не отрекаясь от любви и почте­ния к своему учителю Сократу, показать, что самоубий­ство, совершенное этим идеальным человеком, — не выход и не способ. Для этого Платону пришлось вложить в уста своего героя слова, из которых следует, что поступок Сократа — не правило, а редкое исключе­ние, которое может быть санкционировано лишь выс­шей силой (та самая аргументация, которую впослед­ствии повторит блаженный Августин). Обращаясь к сво­ему ученику фиванцу Кебету, Сократ говорит: "Сокровенное учение[[1]](#footnote-1) гласит, что мы, люди, нахо­димся как бы под стражей и что не следует ни избав­ляться от нее своими силами, ни бежать, — величе­ственное, на мой взгляд, учение и очень глубокое. И вот еще что, Кебет, хорошо сказано, по-моему: о нас пекутся и заботятся боги, и потому мы, люди, — часть божественного достояния. Согласен ты с этим или нет?

— Согласен, — отвечал Кебет.

— Но если кто-нибудь из тебе принадлежащих убил себя, не спросившись предварительно, угодна ли его смерть тебе, ты бы, верно, разгневался и наказал бы его, будь это в твоей власти?

— Непременно! — воскликнул Кебет.

—А тогда, пожалуй, совсем не бессмысленно, что­бы человек не лишал себя жизни, пока бог каким-нибудь образом его к этому не принудит, вроде как, например, — сегодня — меня".

Платон осуж­дает не самоубийство вообще, а лишь тех, кто убил себя "от малодушия и праздности". Что ж, с этим, навер­ное, можно согласиться. Хотя имеют ли право оставши­еся в живых решать, достойными или недостойными были мотивы самоубийцы?

Если рациональность Платона все же апеллирует к религиозному сознанию и основана на аксиоме, утвер­ждающей, что человек — раб божий и потому не имеет права произвольно уходить из жизни, то Аристотель больше подчеркивает антиобщественность этого деяния. Оно является актом безответственным и преступлением против государства, ибо загрязняет город и ослабляет общество, лишая его полезного гражданина. Самоубий­ство "заманивает людей двумя приманками — легкос­тью и честью", но на самом деле есть трусость и дезер­тирство, так как убивающий себя подобен солдату, ко­торый бросил свой пост.

Резоны Аристотеля не столь убедительны для нас — конечно, за исключением тех из нас, кому нра­вится воображать себя солдатом на посту.

## Философия Средневековья.

Неприятный факт: христианство повело страстную, непримиримую борьбу с самоубийцами, продолжающу­юся и поныне, не столько из высших соображений, сколь­ко из меркантилизма, выполняя заказ земных властей. Все имеет свою цену, в том числе и возможность спасти миллионы душ, которую христианство получило с обре­тением статуса государственной религии.

Не секрет, что в первые века своего существования гонимая религия относилась к мученичеству, то есть аль­труистическому самоубийству во имя веры, с благогове­нием. Христианство не смогло бы добиться такого авто­ритета без страстотерпцев, добровольно шедших на крест или на арену цирка, в пасть голодным хищникам. Од­нако государству и государственной религии мученики ни к чему — никогда не знаешь, чего от них ожидать, и примерно с V века отношение церкви к добровольной смерти во имя веры начинает меняться.

Утвердив принцип "кесарю кесарево", церковь рас­ширила трактовку принципа "Богу Богово": бессмерт­ная душа принадлежит Всевышнему, и только Он волен ей распоряжаться.

Искоренение беса самоубийства проводилось с труд­но вообразимой для наших времен обстоятельной нето­ропливостью, растянувшись на столетия. Первая атака была предпринята еще на закате Западной империи, на Арльском соборе 452 года, где суицид впервые был объяв­лен преступлением, а те, кто его совершают, — "объя­тыми диавольским безумством". В 533 году Орлеанский собор, следуя пожела­нию судебных властей, отказал в христианском погре­бении самоубийцам из числа осужденных преступников, ибо, совершив самосуд, они обманывают закон, уходят от положенного наказания. Следующий шаг был пред­принят на Бражском соборе 563 года, введшем кара­тельные санкции против всех самоубийц: им отказали в церковном отпевании и погребении. Толедский собор 693 года отлучил от церкви не только самоубийц, но и тех, кто, попытавшись покончить с собой, остался жив.

Христианская церковь относилась к самоубийству го­раздо непримиримее, чем к убийству. Эта явная неспра­ведливость аргументировалась тем, что убийца еще мо­жет раскаяться в своем злодеянии, а самоубийца такой возможности лишен. На самом же деле снисходитель­ность к первому из смертных грехов объяснялась все теми же государственными интересами: и светской, и церковной власти было не обойтись без собственных убийц, состоявших у них на службе.

Каждая из ужесточающих мер, вводимых церковью против самоубийц, немедленно сопровождалась еще бо­лее строгими актами светской власти.

Рьяность властей имела кроме религиозной и финан­совую подоплеку: еще в законах Людовика Святого (XIII век) самоубийцу предписывалось не только подвергать посмертному суду, но и лишать имущества, переходящего к барону. С централизацией власти наследователем самоубийц стала корона.

Таким образом христианс­кая церковь сформировала безоговорочно негативное от­ношение к суициду лишь через 500—600 лет после сво­его возникновения.

При отсутствии канонических обоснований отцам цер­кви, участникам антисуицидных церковных соборов V— VII веков, было не так-то просто доказать тезис о недо­пустимости самоубийства. Положение усугублялось тем, что сам Иисус принял смерть добровольно, то есть фак­тически закончил свое земное существование самоубий­ством. Примеру Агнца последовали сотни и тысячи хри­стианских мучеников. Одни безропотно и даже с радос­тью предавались в руки палачей, другие убивали себя сами и именно за это были причислены христианской церковью к лику святых.

Ранние вероучители Тертуллиан (II век) и святой Иероним (IV век) восхваляют верность Дидоны, предпочетшей самосожжение повторному браку. У Евсевия Кесарийского (III век) описано тройное самоубийство антиохийской христианки Домнины и двух ее дочерей, кото­рые, спасаясь от разнузданной диоклетиановой солдат­ни, бросились в реку "и погибли незапятнанными среди волн".

В IV—V веках появились христианские фанатики-донатисты (последователи карфагенского епископа Дона­та), которые так неистово жаждали мученичества во имя веры, что церковь в конце концов объявила их еретика­ми. Донатисты убивали себя по поводу и без повода, создав своеобразный культ самоубийства. Дона­тисты верили в то, что человек может достичь святости усилием воли, однако правящая церковь усмотрела в этой установке грех гордыни.

Святой Августин, первым из отцов церкви обрушившийся на суицид, утверждал, что спасение идет только от Бога, а самоубийство, даже совершенное во имя веры, — "мерзкий грех, заслужи­вающий проклятия, худший из грехов, ибо в нем нет возможности раскаяться". Диспуты с адептами донатизма в конце концов сменились репрессивными мерами. Имен­но тогда в христианском мире утвердился принцип "веры насильно", вознесший церковный институт к вершинам земной власти, но подорвавший самую основу христи­анства.

Поскольку сослаться на установления Библии Авгус­тин не мог, он главным образом оперировал аргумента­ми, почерпнутыми из сочинений Платона, допол­нив их суждением о том, что убить себя — означает убить образ Божий. И все же у Августина еще нет пол­ного запрета самоубийства. Для оправдания христианс­ких мучеников, лишивших себя жизни во имя веры, вероучитель ввел категорию самоубийства, внушенного свыше, то есть совершенного по велению Господа (таков, напри­мер, случай Самсона).

Однако для позднейших вероу­чителей допущение Августина оказалось слишком либеральным. Святой Бруно (XI век) отказал са­моубийцам в мученическом венце, назвав их "страстотерпцами во имя Сатаны", а окончательно обвинительное заключение в их адрес было сформулиро­вано Фомой Аквинским (XIII век). В "Сумме теологии" Аквинат объявляет самоубийство трижды смертным гре­хом: против Господа, дарующего жизнь; против обще­ственного закона; против человеческого естества — инстинкта самосохранения, заложенного в каждом живом существе. "Всему сущему свойственно любить себя и продлевать свое бытие; самоубийство противно и при­родным устремлениям, и тому милосердию, с коим че­ловек должен к себе относиться".

Разрешил святой Фома и два давних вопроса, с кото­рыми не справился Августин: может ли христианка при­бегнуть к самоубийству, если ей угрожает изнасилова­ние? И еще: допустимо ли самоистребление ради веры — путь, который избрали многие раннехристианские муче­ники? "Не позволено женщине убивать себя ради того, чтобы избежать осквернения, — пишет автор "Суммы". — Ибо никто не вправе избегать малого греха, прибегнув к греху большому. А на женщине, подвергшейся наси­лию, и вовсе греха нет, если над ней надругались без ее согласия. Как сказано у святого Луки: "Не осквернится тело без соизволения души". Да и всякому очевидно, что грех прелюбодеяния либо супружеской неверности несравним по тяжести с грехом убийства и тем более само­убийства". К самоубийцам во имя Господа Фома Аквинс­кий суров: "...Некоторые убивают себя, полагая, что поступают мужественно, как это сделал Разис; но сие не доблесть и не проявление истинной силы. Так поступает душа слабая, не способная вынести страдания".

## Философия Нового времени.

С приходом Ренессанса и зарождением кон­цепции гуманизма варварство стало уходить в прошлое. Нравы смягчались, нетерпимость постепенно выходила из моды, а жестокость и суеверие из похвальных качеств перешли в разряд постыдных. Европа вступала в новые времена.

Впервые о естественных правах человека — на жизнь, на справедливый суд, на собственность — заговорили в Англии и поначалу только применительно к баронам ("Великая хартия вольностей", XIII век). К началу Но­вого времени идея о том, что у государя есть не только права, но и обязанности, а у подданных не только обя­занности, но и права, распространилась по всей север­ной Европе. Этот поистине революционный переворот в умах, вознесший индивида и тем самым неминуемо приспустивший с недосягаемой высоты и кесаря, и Бога, свершился благодаря мыслителям и сочинителям: Томасу Мору, Эразму Роттердамскому, Мартину Лютеру, Шекспиру, Спинозе, Декарту, Гоббсу, Сервантесу, которые каждый на свой лад учили челове­ка тому, что он достоин уважения.

Это не замедлило сказаться на отношении общества к суициду. Первым защитником самоубийц был Монтень, оправдывавший "благородное самоубийство" и вос­хищавшийся доблестными женщинами античности, жертвовавшими жизнью во имя долга или любви. В следующем столетии пространную и эмоциональную апологию суицида написал Джон Донн, однако опуб­ликовать свой "Биатанатос" позволил лишь посмертно — очевидно, боялся потерять хорошее место диакона в лондонском соборе Святого Павла. Дэвид Юм, вознаме­рившийся "вернуть человеку его утраченную свободу", издал свой труд "О самоубийстве" (1777) через двадцать лет после того, как этот трактат был написан. По­чти сразу же книга попала в список запрещенных из­даний, но в конце XVIII века это было уже явным анах­ронизмом — эпоха безоговорочного осуждения суици­да подходила к концу.

Первые симптомы послабления проявлялись и рань­ше. Чрезмерная суровость светского и церковного зако­на была трудноприменима на практике — и по эмоцио­нальным, и по материальным соображениям. Люди все равно убивали себя, невзирая на земные и небесные кары. Оставались друзья, которые не желали отдавать останки самоубийцы на поругание, оставались родственники, которым нельзя было вы­жить без средств к существо­ванию. Поэтому чаще всего факт самоубийства скрывал­ся; покойника благополучно отпевали, хоронили на клад­бище, а власти смотрели на это сквозь пальцы. В тех же случаях, когда утаить причину смерти было невозмож­но, самоубийцу объявляли безумным или "временно по­мутившимся в рассудке" — в большинстве стран это ос­вобождало от церковного и уголовного наказания.

Восемнадцатое столетие завершилось тем, что признало за человеком право на жизнь. Это поставило перед юристами сложную задачу: является ли это право одновременно и обязанностью? Ни в одной из конституций и деклараций прав человека этого не утверждалось. Если у человека есть юридическое право жить, стало быть, он может и не пользоваться этим правом, то есть прекратить своё существование. Понадобились долгие десятилетия, чтобы уголовное законодательство различных стран было приведено в соответствие с их основным законом.

Французская революция, пролившая реки крови, но показавшая всему миру, как надо расправляться с предрассудками и анархизмом, первой вычеркнула самоубийство из списка уголовных преступлений. Последняя же из европейских стран на это решилась Великобритания, сохранявшая в кодексе антисуицидную статью вплоть до 1961 года.

Между двумя этими событиями – 170 лет упорной борьбы государства и церкви с общественным мнением, все более и более сочувствием по отношению к самоубийству. Твердая власть не любит, когда подданные проявляют своеволие, предпочитает лишать жизни сама, поэтому при тоталитарных режимах, будь то наполеоновская Франция или коммунистическая Россия, самоубийство как социальное явление сурово осуждалось или замалчивалось. Во времена Итальянского похода Бонопарт, обеспокоенный количеством самоубийств в рядах своей победоносной армии, издал специальный указ, в котором говорилось: «Солдаты! Нужно уметь преодолевать сердечные страдания! Для того чтобы выдержать душевные невзгоды, потребно не меньше силы воли и мужества, чем для того чтобы выдержать залповый огонь неприятеля!» Великому полководцу принадлежат и такие слова: «Смерть как акт отчаяния – это трусость. Самоубийство не отвечает ни моим принципам, ни месту, которое я занимаю на мировой арене. Я человек, приговоренный к жизни». С другой стороны – исторический факт: в канун первого отречения Наполеон принял яд и остался в живых лишь благородя тому, что отрава от длительного хранения утратила свою действенность…

Во второй половине XIX века в цивилизованных странах самоубийц уже не подвергали публичному поношению, но закон по-прежнему был суров по отношению к тем, кто пытался уйти из жизни, но не сумел. В Англии же государство бралось завершить не доведённое до конца самоубийство при помощи палача – попытка суицида каралась смертной казнью. Вот отрывок из письма Николая Огорева бывшей проститутке Мэри Сазерленд (он «спас» эту падшую женщину, и она стала его верной подругой до конца жизни): «Тут повесили человека, который перерезал себе горло, но был спасён. Повесили его за попытку самоубийства. Врач предупредил их, что вешать его нельзя, потому что разрез разойдётся, и он сможет дышать прямо через трахею. Его не послушали и повесили. Рана немедленно раскрылась, и повешенный ожил. Понадобилось много времени, чтобы собрать олдерменов. Наконец они собрались и решили перетянуть шею приговорённого ниже раны и держать так, пока он не умер. О, Мэри, что за безумное общество и что за идиотская цивилизация».

Этот возглас очень точно отражает состояние умов и общественное настроение думающих людей XIX века. Из жуткого, табуированного призрака, загнанного в самый угол общественного сознания, суицид превращался в мощное, многокомпонентное явление, в котором сочетались кризис религии, изменение мироощущения личности, социальный кризис, распад патриархальной семьи и множество иных факторов.

Как уже было сказано мэр города Бордо Мишель Эйкем де Монтень был первым, кто, спустя полутора тысяч лет после поздних стоиков и поздних эпикурейцев, подал в голос в защиту самоубийц, опубликовав свои «Опыты», впоследствии включённые в ватиканский «Список запрещённых книг».

Монтень — один из первых свободных умов зарожда­ющейся гуманистической эпохи и уже поэтому не мо­жет осуждать тех, кто осуществил свое право на свободу выбора в главном из вопросов бытия: жить или не жить. Автор "Опытов" порицает лишь тех, кто наложил на себя руки из малодушия, но самоубийство из благо­родных мотивов вызывает у него уважение.

Однако у Монтеня теме суицида отведено совсем не­много места — для рассудительного и вместе с тем оп­тимистичного рационалиста эта тема, видимо, представ­ляла скорее отвлеченный интерес, и свободу окончательного выбора он отстаивал не из личной заинтересо­ванности, а из принципа и любви к справедливости. Первый же трактат, целиком посвященный апологии самоубийства, появился несколькими десятилетиями позднее.

"Биатанатос" Джона Донна — произведение во мно­гих отношениях занимательное. В придаточных пред­ложениях длинного, витиеватого, уклончивого наиме­нования этого труда легко увязнуть: "БИАТАНАТОС. ДЕКЛАРАЦИЯ ПАРАДОКСА ИЛИ ТЕЗИСА, ГЛАСЯ­ЩЕГО, ЧТО САМОУБИЙСТВО — НЕ ДО ТАКОЙ СТЕ­ПЕНИ ГРЕХ, ЧТОБЫ ОТНОСИТЬСЯ К НЕМУ ИМЕН­НО ТАК И НЕ ИНАЧЕ, С ПОДРОБНЫМ РАССМОТРЕ­НИЕМ СУТИ И СОДЕРЖАНИЯ ВСЕХ ЗАКОНОВ, ЯКО­БЫ НАРУШАЕМЫХ СИМ ДЕЯНИЕМ".

Цель в предисловии заявлена вполне благая: обли­чить зло самоубийства, однако автор обличает сей грех довольно странно. Да, пишет он, самоубийство — одна из форм убийства и потому заслуживает осуждения. С другой стороны, не каждый, совершивший убийство, по закону подлежит каре. Точно так же не каждый самоубийца несет на себе печать смертного греха.

Донн пишет, изображая наи­вное недоумение: "Когда я заглядываю в мартиролог всех тех, кто погиб от своей руки во имя религии, ро­дины, славы, любви, избавления от страданий, страха, стыда, мне стыдно видеть, сколь мало приверженцев добродетели по сравнению с сими бесстрашными". Тем самым автор подводит читателя к главной своей мыс­ли, которую в XVII веке можно было изложить лишь после долгой аргументации: "Наш благословенный Спа­ситель избрал сей путь ради нашего избавления и по­жертвовал своей жизнью, и пролил свою кровь". Прав Борхес, когда пишет: "Заявленная цель "Биатанатоса" — обличение самоубийства; главная — доказать, что Христос покончил с собой". Вот он, наивысший аргу­мент, делающий все прочие доводы излишними: само­убийство — "не до такой степени грех", если на него пошел Сын Божий.

Возможно, аргументация Монтеня и Дона проигрывают умозаключениям философам древности. Внушает симпатию искренность и мужество, которое в ту не склонную к толерантности эпоху требовали от сочинителя подобные откровения.

Прошло без малого еще полтора века, прежде чем апология суицида была изложена сухо, деловито и нау­кообразно, по пунктам. Эту миссию взял на себя еще один -англичанин, Дэвид Юм, назвавший свой труд пре дельно просто, уже безо всяких придаточных — "О са­моубийстве" (издано в 1777). Это эссе долгие годы суще­ствовало только в виде рукописи, вышло в свет на анг­лийском лишь после смерти автора, анонимным изда­нием, и тоже попало в список запрещенных книг — дух сочинения был слишком вольнодумен даже для Века Просвещения.

Юм последовательно разбирает три главных об­винения в адрес суицида, в свое время выдвинутых Фо­мой Аквинским и доселе никем не опровергавшихся: преступление против Бога; преступление против ближних; преступление против человеческой природы. Вто­рой и третий пункты обвинения в XVIII столетии, как и в нынешнем, опровергались без труда, поскольку они относятся к компетенции земного разума.

По поводу вреда, который самоубийца может нанести своим деянием обществу, Юм говорит, что отношения индивида с социумом строятся на основе взаимности. И далее рассуждает таким образом: человек не обязан делать незначительное добро обществу, нанося огромный или просто большой вред себе, поэтому нет смысла продолжать влачить жалкое существование. Но мне кажется, что говоря о ближних наших, имеется ввиду не только абстрактное общество, но и близкие и родные, для которых самоубийство является безусловным преступлением, но очень велико число самоубийств именно по причине безвыходного одиночества.

От довода о греховности самоубийства по отношению к самому себе Юм просто отмахивается: есть вещи поху­же быстрой смерти — дряхлость, неизлечимая болезнь, тяжкие невзгоды. Что ж, с этим, кажется, не поспо­ришь.

Главное место в эссе, как и следовало ожидать, зани­мает полемика с первым и в принципе неоспоримым (поскольку не человеческого ума дело) тезисом о пре­ступлении перед Господом. Для атеиста этот аргумент, разумеется, — полнейший вздор, не заслуживающий обсуждения, однако большинство наших современников — люди верующие либо агностики.

Юм пишет о том, что как для Вселенной, так и для Бога нет разницы между жизнью какого-нибудь насекомого и человека. Далее он утверждает, что всё предопределено свыше, и если жизнь стала не выносимо тяжёлой, так это и есть знак свыше о том, что пора. Сегодня это звучит не слишком убедительно. А как же свобо­да выбора, а ответственность, подразумеваемая этой свободе.

На мой взгляд, этот тезис так и остался опрокинутым, единственное, что здесь можно сказать, а вернее повторить, то что Спаситель наш шёл на верную смерть именно по Божьей воле, всё же остальное напоминает переливание из пустого в порожнее.

Спи­ноза — первый мыслитель новой эпохи, который в критике суицида обошелся без огневой поддержки в виде геенны и вечного проклятья. Тезис голландского материалиста прост и мужествен: "Те, кто лишает себя жизни, имеют душу, пораженную бессилием; их нату­ра потерпела полное поражение в борьбе с внешними обстоятельствами". Очевидно, Спиноза, как и Платон, имеет в виду самоубийство вследствие малодушия. Од­нако вряд ли справедливо распространять этот приго­вор на всех самоубийц без исключения, ибо как тогда быть с неистовым библейским Разисом и его многочис­ленными историческими последователями? Кроме того, не вполне ясно, о какой борьбе толкует философ-пантеист (а пожалуй, что и атеист). О борьбе во имя чего? Во имя того, чтобы, преодолев все "внешние обстоятель­ства", дожить до 95 лет и умереть от перелома шейки бедра? Кажется, без Бога и высшего смысла, не обойтись.

По Канту человеческая жизнь священна, потому что она — часть природы. Самоубие­ние безнравственно, ибо самоубийца предает цель своего существования, совершает преступление против высшего долга, коим явля­ется всеобщий закон природы.

"...Тот, кто занят мыслью о самоубийстве, спро­сит себя, исходя из понятия необходимого долга по отношению к самому себе, совместим ли его посту­пок с идеей человечества как цели самой по себе*.* Если он, для того чтобы избежать тягостного состояния, разрушает самого себя, то он использует лицо только как средство для сохранения сносного состояния до конца жизни. Но человек не есть какая-нибудь вещь, стало быть, не есть то, что можно употреблять толь­ко как средство; он всегда и при всех своих поступ­ках должен рассматриваться как цель сама по себе. Следовательно, я не могу распоряжаться человеком в моем лице, калечить его, губить или убивать". Интересно, сумела ли эта во всех отношениях по­хвальная идея остановить руку хоть одного человека, доведенного до крайней точки, и решившегося на само­убийство? Позволю себе в этом усомниться.

# Причины, побуждающие к самоубийству.

Поступок самоубийцы почти всегда повергает остаю­щихся в шок — невообразимым для многих попирани­ем жизненного инстинкта, бесстрашием перед лицом укорененного в нашем сознании и подсознании табу, разрывом всех и всяческих связей с миром людей, с нашим миром. Для большинства во все времена мотивы этого пугающего акта казались непостижимыми и даже мистическими. Но человек не любит необъяснимого и если не знает удовлетворительного ответа на вопрос, то придумает неудовлетворительный, лишь бы не оставаться вовсе без ответа.

До поры до времени европейцев устраивало объясне­ние суицида, предложенное церковью: самоубийство про­исходит в результате безумия, то есть из-за того, что в душу проникает бес и пожирает ее изнутри. Однако в XVIII столетии для подросшего сознания такого истол­кования стало недостаточно — тем более что явно не все случаи самоубийства можно было объяснить безумием. Тогда-то и возникли первые попытки сделать некие обоб­щения — то есть вывести теорию самоубийства.

В последние двести лет представление о человеке и механизме его поступков постоянно усложнялось. В кон­це XX века человек кажется самому себе гораздо более сложным существом, чем он представлялся мыслителям и ученым Века Просвещения. То была эпоха простых ответов на сложные вопросы. Из-за чего люди убивают себя? Монтескье и Карамзин с уверенностью винили в этом климат и рацион питания. Чуть позже вина с не меньшей убежденностью была возложена на нигилизм, материализм и прочие разрушительные идеи. А сегодня получается, что мы все-таки до конца не понимаем, по­чему миллионы людей ежегодно стремятся расстаться с жизнью — то есть с тем, что кажется нам главным со­кровищем. Само обилие существующих ныне суицидо­логических теорий свидетельствует о нашей растерян­ности перед феноменом самоубийства.

Основателем суицидологии был Эмиль Дюркгейм, со­здавший стройную, но, как мы увидим, отнюдь не ис­черпывающую, а кое в чем и явно неубедительную тео­рию суицидальной мотивации. Тем не менее его работа "Самоубийство" (1897) дала толчок новым изысканиям, и уже в начале XX века появилось целых три школы суицидологии: социологическая (то есть собственно дюркгеймовская), антропологическая (выводящая суицидальность из аномалий в строении и развитии организ­ма) и психиатрическая.

Затем школ стало больше — прибавились психоана­литическая, биохимическая (сделавшая главными ви­новниками гены и гормоны), макроприродная (которая искала причину в расположении планет, воздействии окружающей среды, географических условиях и т.д.).

Со временем стало очевидно, что ни одно из направ­лений неспособно объяснить феномен суицида во всей его полноте. Это выяснилось в ходе обширных статисти­ческих исследований, которые помогли ученым выявить общие закономерности, но так и не решили тайну каж­дого отдельного самоубийства. Исследование мотивов су­ицида, проведенное в 30-е годы в Англии, дало такую картину: 37% всех случаев объяснялись психическими патологиями, 35% — социальными причинами, 17% — личностными аномалиями, 14% — личными невзгода­ми (несчастная любовь, болезнь, утрата и т.д.). В ряде случаев мотивация была комбинированной — этим объяс­няется зашкаливание за стопроцентную сумму. При­мерно в те же годы этнографы провели исследование суицидологической картины у народов центральной и восточной Африки. Там наиболее часто встречающиеся мотивации были такими (в порядке убывания): болезнь, любовная драма, импотенция или бесплодие, психичес­кое заболевание, стыд.

Из этого маленького примера ясно, что в зависимос­ти от общественных условий и культурных особеннос­тей соотношение основных суицидальных мотиваций может сильно отличаться. Однако всегда будет доста­точно высокой пропорция суицидальных случаев, кото­рые не укладываются в рамки основных категорий (те же "личностные аномалии" или так называемые "немо­тивированные самоубийства"). Это, разумеется, не озна­чает, что суицидология сто лет трудилась впустую — она сумела выявить некоторые общие законы.

Я рассмотрю два, на мой взгляд, самые интересные направления.

## Общественные причины.

С точки зрения социологии самоубийство — одна из моделей так называемого девиантного поведения, область социальной патологии — наряду с наркоманией, проституциеи, преступностью и алкоголизмом. Убивая себя, человек отказывается призна­вать, что он общественное жи­вотное, и тем самым привле­кает к своей персоне, пусть по­смертно, пристальное внима­ние того самого социума, ко­торым столь решительно пре­небрег.

Эмиль Дюркгейм сводит всю совокупность мотиваций суицида к пагубному воздействию социальной среды и происхо­дящих внутри нее процессов. Индивид не убивает себя — происходит убийство, соверша­емое обществом. Основатель суицидологии выделяет всего три типа самоубийства: эго­истическое, альтруистическое и анемичное.

Эгоистическое самоубийство происходит тогда, когда узы, соединяющие человека с жизнью, разрываются, ког­да ослабевает его связь с обществом, результатом чего становится крайний индивидуализм. Высокий уровень образования в смысле суицидораспо-ложенности — вещь опасная. Интеллектуалы убивают себя раз в десять чаще, чем люди малообразованные — именно потому, что образованность и связанная с нею материальная обеспеченность (во всяком случае, во вре­мена Дюркгейма они были связаны) способствуют обо­стрению индивидуализма. Парадоксально, но факт: чем легче и приятней жизнь человека, тем чаще он задумы­вается о самоубийстве. Что, собственно, и демонстриру­ет наша благоустроенная эпоха.

Альтруистическое самоубийство, наоборот, являет­ся следствием недостаточно развитой индивидуальнос­ти. К этой категории, например, относится самоустранение стариков в примитивном обществе. По Дюркгейму, альтруистический суицид является приметой "об­ществ низшего порядка". Человек кончает с собой из "общественных" соображений, когда социум оказыва­ет на личность сильное психическое давление, побуж­дая ее к самоуничтожению. Пример — массовые само­убийства в фанатичных и тесно сплоченных религиоз­ных общинах. Общественный интерес подавляет лич­ный там, где "я" не принадлежит человеку. "Во всех этих случаях мы видим, как субъект стремится освобо­диться от своей личности для того, чтобы погрузиться во что-то другое, что он считает своей настоящей сущ­ностью". И очень важное замечание: "В той среде, где властвует альтруистическое самоубийство, человек все­гда готов пожертвовать своей жизнью, но зато он так же мало дорожит и жизнью других людей". Тоталитар­ные государства XX века, отстаивавшие примат соци­альных ценностей над индивидуальными, легко жерт­вовали гражданами, мешавшими развитию общества, а полезных граждан постоянно призывали к самопо­жертвованию, в том числе и прямому — через альтру­истическое самоубийство (прославление подвига Матросова, "последнюю пулю себе", эскадрильи камикадзе и прочее).

Анемичное самоубийство (аномия — общее состоя­ние дезорганизации) становится массовым явлением в период любых значительных социальных потрясений — причем не только отрицательных, но и положитель­ных. "Каждый раз, когда социальное тело терпит круп­ные изменения, вызванные внешним скачком роста или неожиданной катастрофой, люди начинают убивать себя с большей легкостью". В качестве примеров позитив­ных, но оттого не менее суицидопобуждающих обще­ственных перемен Дюркгейм приводит данные 1870-х годов: рост самоубийств в победоносной Германии, а также в объединившейся, бурно развивавшейся Ита­лии. При подобных перепадах происходит массовое из­менение установившейся социальной иерархии. Резкое изменение общественного и имущественного статуса вле­чет за собой волну самоубийств среди тех, кто не смог приспособиться к новым условиям.

Законы Дюркгейма гласят, что уровень самоубийств в популяции напрямую связан с ее степенью сплоченно­сти: суицидальная статистика изменяется обратно про­порционально степени семейной, религиозной и поли­тической интеграции.

Совершенно очевидно, что теория Дюркгейма, при оче­видной бесспорности своих ключевых положений, объяс­няет лишь один, пусть даже очень широкий, аспект су­ицидальных побуждений. Вместе с тем французский социолог открыл и попытался объяснить ряд важных закономерностей, изучение которых было продолжено его многочисленными последователями.

Значительное преобладание мужских самоубийств над женскими Дюркгейм объяснял тем, что у женщи­ны менее развита чувствительность, женщина недоста­точно проникнута общественной жизнью и "очень не­сложных социальных форм достаточно для удовлетво­рения всех ее требований". Это утверждение, разуме­ется, звучит до комичного шовинистично, однако даль­нейшее развитие суицидологии подтвердило, что жен­щины действительно совершают самоубийства в сред­нем в 3-4 раза реже. Современная психология объяс­няет это тем, что женщины отличаются большей мен­тальной пластичностью и обладают лучшей социаль­ной адаптируемостью. Правда, они совершают в пять раз больше суицидальных попыток, чем мужчины, но в большинстве случаев эти покушения носят демонст­ративный характер и направлены не на прекращение собственной жизни, а на улучшение ее качества (при­влечь внимание к своему несчастью, получить помощь, вызвать сострадание и прочее). Характерно, что в скан­динавских странах, где эмансипация началась раньше и получила большее развитие, социальные роли полов почти полностью сравнялись, и, как результат, количество самоубийств среди женщин и мужчин по­чти сравнялось. Редким исключением в этом отноше­нии является Япония — там женщины убивают себя чаще, чем мужчины, что особенно проявляется в стар­ших возрастных группах.

Последователи Дюркгейма усовершенствовали соци­ологическую суицидологию, открыли множество новых закономерностей, связывающих уровень самоубийств с общественными процессами, вывели сложные формулы, позволяющие прогнозировать, а стало быть, и смягчать суицидные всплески. Сегодня мы знаем и можем объяс­нить, почему горожане убивают себя чаще, чем сельс­кие жители (причин много: в аграрных сообществах крепче институт семьи; дезорга­низованные городские зоны — рассадник самоубийств и т.п.); почему снижение рождаемости пагубно отражается на уровне самоубийств (установлено, что уровень самоубийств находится в обратной зависимос­ти с долей детей в популяции: дети цементируют семью, крепкая семья — хороший барьер против суицида); почему число само­убийц резко падает во время войны (в годы военных испытаний общество консолидируется, что понижает степень социальной изоляции) и так далее, и так далее.

Социология способна объяснить причины большин­ства самоубийств в социально неблагополучных странах (например, в сегодняшней России), но даже там многие случаи выходят за рамки ее компетенции. И тем более заметна недостаточность этой теории, когда речь захо­дит о суицидной картине в тех обществах, где жизнь человека в меньшей степени зависит от социального дав­ления. Неудивительно, что именно в этих странах соци­ологическая школа довольно скоро уступила первенство тому направлению суицидологии, которое объясняет самоубийство устройством человеческой психики и про­исходящими в ней процессами.

## Психологические причины.

Разумеется, человеческая психика — сфера куда бо­лее загадочная и гораздо меньше поддающаяся изуче­нию, чем законы развития общества. Самая главная тай­на для человека — он сам, механизм его поступков и истинные мотивы его поведения. Здесь нет ничего, из­вестного наверняка, в лучшем случае существуют неко­торые правдоподобные предположения, любые же кате­горичные суждения вызывают сомнение.

Примерно до середины XIX века медикам казалось, что наше психическое устройство ненамного сложнее паровой машины или ткацкого станка. Душевная ано­малия, толкающая человека на самоубийство, рассмат­ривалась как незначительный механический дефект, легко поддающийся коррекции. Меры предлагались про­стые и решительные: "Перепробовав различные спосо­бы без видимого эффекта, прописал пациенту холодный душ каждое утро, — бодро докладывает о своей методи­ке некий английский психиатр в 1840 году. — Через десять дней страсть к самоистреблению совершенно ис­чезла и более не возвращалась. Известно также, что вов­ремя сделанный клистир отлично рассеивает желание самоубийства".

Хорошим способом лечения суицидальной склонно­сти считалось поставить за уши пиявки. Или наложить пластырь на область печени в сочетании с обильным питьем, причем непременно очень холодным. Француз­ские врачи Вуазен и Брие де Буамон утверждали, что навязчивая идея самоубийства исчезнет, если больно­му погуще помазать ноги противонарывной мазью — "нарыв" в душе лопнет, и все будет хорошо. Отличное средство также — многочасовая ванна. Другой фран­цузский психиатр пришел к выводу, что во многих слу­чаях от "черной меланхолии" девушек полностью вы­лечивает замужество. [Это, кажется, и в самом деле неплохое средство — кроме тех случаев, когда брак заставляет задуматься о самоубийстве тех, кому рань­ше эта идея в голову не приходила — вспомним пе­чально знаменитые самосожжения среднеазиатских жен. Разумный совет меланхоликам давал и Ф.Бэкон: заниматься математикой, ибо она восстанавливает ду­шевную гармонию.

К сожалению, в нашем столетии задача врачебной суицидологии кажется куда более трудной. До сих пор неясно, до какой степени нервно-психические расстрой­ства связаны с суицидальным поведением (каковое включает в себя не только завершенное самоубийство, но также суицидальные попытки и суицидальные на­мерения). Разброс статистических данных слишком велик: одни исследователи утверждают, что примерно одна треть самоубийц — люди психически больные; в новейших же исследованиях речь идет о 90, а то и 95 процентах.

Очевидно, все дело в том, какое состояние считать пси­хическим заболеванием. Большинство суицидентов — люди с пограничными нервно-психическими расстройства­ми. Значительную группу составляют так называемые ак­центуированные личности, люди в принципе психически здоровые, но "со странностями", то есть склонные к аффектной неустойчивости и истероидному поведению. Со­гласно ряду исследований, суицид является главной причиной смерти среди больных шизофренией. Однако пре­обладает мнение, что основной "убийца" — не маниакаль­ные состояния, часто сопряженные с эйфорией, а депрес­сия, та самая "черная меланхолия", от которой в свое время лечили пиявками и холодной водой.

Депрессия — это истощение жизненной силы, то есть осознанное или неосознанное желание умереть. Ее сим­птомы хорошо изучены: чувство вины, ипохондрия, мучительная бессонница и в еще большей степени страх перед бессонницей. Сон — это своего рода "маленькая смерть", временное отключение созна­ния. Интересное исследование связи суицидального поведения с привычками сна провел Эдвин Шнейдман, установивший, что больше склонности к само­убийству проявляют не только те, кто страдает бессонницей, но и люди, про­сыпающиеся по утрам с трудом и в плохом настроении. Иными словами, среди "сов" самоубийц больше, чем среди "жаворонков".

При досконально изученной симптоматике этого со­стояния происхождение его трактуется по-разному. В прежние времена, когда человеческой психикой еще не занималось столько научных дисциплин, говорили о несчастной любви, стыде, угрызениях совести или пре­сыщенности. Современная социология ищет корни деп­рессии в социально-психологической дезадаптации лич­ности, которая обычно происходит вследствие утраты человеком привычной ролевой функции — в семье или иных структурах общества. С точки зрения психобиоло­гии депрессия — это неврофизиологическая дисфунк­ция, определяемая либо наследственностью, либо гор­мональным дисбалансом, либо иными подобными фак­торами. Существует другое более лестное для нас объяснение: виноваты не гены и не гормоны, а этичес­кий нигилизм и утрата смысла жизни. Бихейвористика выделяет в качестве главного толчка к депрессии ощущение человеком своей беспомощности и "негативное усиление" заниженной самооценки.

Группа суицидального риска в интерпретации "пси­хического" направления суицидологии выглядит иначе, чем у социологов: 1) суициденты с психической патоло­гией; 2) алкоголики и наркоманы; 3) акцентуированные личности (в иной терминологии "абнормальные личнос­ти", "индивиды с личностными нарушениями" и проч.); 4) люди практически здоровые, но склонные к острым ситуационным реакциям.

Среди "психических" теорий больше всего внимания приковало к себе одно из любимейших чад XX века — учение психоанализа, попытавшееся создать генераль­ный метод препарирования нашего душевного устрой­ства и, пусть не осуществившее это вряд ли выполнимое намерение, но многое нащупавшее и объяснившее.

Если Дюркгейм возложил ответственность за суицид на общество, то Фрейд (а вернее, его последователи), в свою очередь, переложил вину на подсознание.

В 1917 году в эссе "Скорбь и меланхолия" Фрейд впервые попытался подступиться к этой теме, выска­зав предположение, что суицидальность — это переад­ресация агрессии с внешнего мира на себя. На раннем этапе психоаналитическая теория пробовала найти при­чины самоагрессии в извращении полового инстинкта или реакции психики на фрустрацию. Но три года спу­стя, издав работу "За принципом наслаждения", Фрейд ввел в свою теорию новую основополагающую катего­рию врожденного "инстинкта смерти": не все модели поведения могут быть объяснены инстинктом само­сохранения; у инстинкта смерти, разрушения, бывает два проявления — активное и пассивное; многие ас­пекты человеческого поведения станут понятнее, если учесть взаимодействие двух этих инстинктов — жизни (эроса) и смерти (танатоса), иначе называемых любо­вью и ненавистью. В таком случае, самоуничтожение — это подавление одного естественного инстинкта дру­гим, не менее естественным.

Этой гипотезой вклад Фрейда в суицидологию, соб­ственно, и исчерпывается. Сам он называл свою кон­цепцию "биологической спекуляцией" и говорил, что она нуждается в доработке.

В доработчиках недостатка не было. Американский психиатр Карл Меннингер довел идею учителя до логи­ческого завершения: любое поведение, вредное для здоровья или опасное для жизни есть проявление инстинк­та смерти, а наивысшее из этих проявлений — акт са­моубийства. По Меннингеру, психологические компонен­ты суицидального поведения — месть (агрессия, направ­ленная вовне), вина (агрессия, направленная внутрь) и депрессия (желание умереть). В основе же суицидаль­ной мотивации часто заложено подсознательное стрем­ление вернуться к блаженной безмятежности утробного предсуществования.

Увы, и психоанализ не всеохватен — слишком уж часты случаи, когда терапия оказывается бессильна: пациент обращается к аналитику в надежде избавиться от навязчивых мыслей о самоубийстве, но сеансы тера­пии не помогают, и человек погибает.

# Суицидальная Россия: история и современность.

Траектория русского суицида поражает своей причуд­ливостью и непредсказуемостью. На протяжении исто­рии кривая самоубийств то стелилась к самой абсциссе, то круто взмывала вверх, обгоняя самые "неблагополуч­ные" страны.

В России давно уже сосуществуют две нации — и не то чтобы бесконфликтно. Правда, населе­ние делится вовсе не по ленинскому принципу на бога­тых и бедных или эксплуататоров и эксплуатируемых. Незримая, но вполне реальная граница проходит через духовно-культурный комплекс, складывающийся из об­разования, воспитания, мировоззрения. Условное назва­ние двух российских наций: "народ" и "не-народ". Где-то на исходе XVIII столетия национальное тело России пе­режило нечто вроде клеточного деления — и с тех пор две несоразмерные части общества (их массы обратно пропорциональны вкладу в общенациональную культу­ру) стали существовать каждая по своим законам. Попробуем дать оп­ределение двум составляющим нашей культуры.

С "народом" вроде бы ясно: "необразованные массы" (Добролюбов), "низший слой государства" (Белинский), "чернь, простолюдье, низшие сословия" (Даль). Но как опреде­лить "не-народ"? Видимо — никуда не денешься — при­дется использовать затасканный и мутный термин "ин­теллигенция". Попробуем так: интеллигенция — разумная, образованная, умственно развитая часть жителей. Тогда понятно, что общего у просвещенного александровского аристократа, приват-доцента из поповичей и младшего научного сотрудника брежневской эпохи.

"Интеллигенция" и "народ" традиционно находились в ситу­ации неразделенной любви первой ко второму, что, в общем, естественно: душа может любить тело, к которо­му приписана, но телу на душу наплевать. С радищевс­ких времен, то есть от самых своих истоков, "интелли­генция" была одержима бесом народопоклонства (Бер­дяев), хотела служить "народу", жертвовать ради него собой, возвышать его до своего уровня. "Народ" же жил своей жизнью. Очкастые слуги с их непрошеными жертвами ему были не нужны, а те из простолюдинов, кто попадал в тенета образования, со временем (уже во вто­ром поколении) сами превращались в "интеллигентов" и перемещались из одной нации в другую. Слияния так и не произошло, невзирая на все социальные переворо­ты и совместно пройденные невзгоды. Сегодняшнее де­ление российского населения на две нации утратило вся­кие резоны и оттого обрело явственно мистическую подсветку. Но отнюдь не исчезло. Достаточно двум нашим соотечественникам взглянуть друг на друга и переки­нуться парой фраз, чтобы стало ясно, кто из них "на­род", а кто "не-народ", и при этом первый скорее всего проникнется ко второму спонтанной неприязнью, а вто­рой ощутит некий трудновыразимый дискомфорт, зна­комый всякому, кто мучился, пытаясь найти общий язык с сантехником. Этот дискомфорт, убедительнее всего де­монстрирующий инакость двух культур, является не­сомненным атавизмом. Можно понять, почему совестился смотреть мужику в глаза прогрессивный помещик: он, тогдашний "интеллигент", был сыт, чисто одет и приви­легирован, а мужик голоден, грязен и бесправен. Со­словные комплексы современного кандидата наук (сына преподавателя истории КПСС и внука рабфаковки) мо­гут быть объяснены лишь принадлежностью к иной культуре. В чем опять-таки главным образом виновато вне­классное чтение русской литературы.

Если рассмотреть обе российские нации в их истори­ческом развитии с точки зрения суицидологии, то обна­ружится, что "интеллигенция" с самого своего зарожде­ния проявляла гораздо больше склонности к самоубий­ству, чем "народ". Это вполне соответствует суицидоло­гическим законам: материальная устроенность (пусть даже в виде опрятной бедности), сочетаясь с вольномыс­лием, стимулирует рост самоубийств.

Однако нельзя сказать, чтобы и нашему "народу" суи­цидальное поведение было изначально чуждо. Существу­ет несколько моделей типично "народного" самоубийства, а значит, должны быть и некие общие причины, которые следует искать в бесформенном и отчасти шарлатанском понятии, которое зовется "национальным характером". Не ставя себе сомнительную задачу дать исчерпывающую формулировку русского "народного" характера, все же попробуем найти те психокультурные характеристики, которые можно счесть суицидогенными.

Таких опасных качеств можно обнаружить по мень­шей мере два, причем каждое из них представляет со­бой оборотную сторону наиболее привлекательных на­циональных черт. "Решкой" душевной щедрости, раз­маха и немелочности, которыми у нас так любят гор­диться, является склонность к анархии и ослабленный инстинкт самосохранения.

Оборотная сторона отзывчивости и активной сострада­тельности — непонимание смысла приватности, а стало быть, неуважение к личности, как чужой, так и своей.

В сочетании (да еще при передозировке) эти нацио­нальные черты могут трансформироваться в мощный са­моразрушительный импульс, проявляющийся в безудержном пьянстве, которое само по себе уже является типом суицидального поведения и действительно во все времена несло ответственность за большинство российских самоубийств.

Прибавим к этому еще и слабое суицидосдерживающее воздействие православия. Эта государственная религия в постпетровские времена превратилась в деталь казенной машины, и влияние ее на жизнь "народа" было скорее формальным. Приверженность простолюдинов чисто внешней обрядности ввела русскую "интеллиген­цию" в заблуждение, поспособствовав созданию мифа о "народе-богоносце". Если б это не было фикцией, со­ветской атеистической пропаганде не удалось бы так быстро и эффективно разрушить именно в "народе" хри­стианскую этику и вообще привычку к набожности.

В XX веке суицидная картина в России существен­ным образом трансформировалась. "Народный" суицид утратил религиозную составляющую и приобрел чисто бытовые черты: пьянство, нужда, неустроенность. Еще одна отличительная черта XX века — осуществле­ние давней мечты русской "интеллигенции" об общей судьбе с "народом". Вчерашние философы и адвокаты трудились на каторге бок о бок со вчерашними "кулака­ми", а не в специально сооруженных острогах, как некогда декабристы. От телесных наказаний принадлеж­ность к "культурному сословию" более не освобождала, охрана обращением на "вы" не баловала. Всё это до ка­кой-то степени сблизило обе нации, но окончательного слияния так и не произошло.

В послереволюционный период развалилась одна клас­совая иерархия и на ее обломках возникла другая, бур­но развивалась промышленность и росли мегаполисы, распался крестьянский уклад, составлявший основной пласт российской жизни, ослабел семейный институт, почти полностью утратила общественное влияние рели­гия — то есть бурно развивались те самые социально-культурные процессы, которые, согласно Дюркгейму, неминуемо влекут за собой подъем уровня самоубийств. Так и произошло.

Как только закончилась гражданская война, новая Россия принялась стремительно догонять индустриаль­ные страны по суицидным показателям. Самоубийства шли волнами: с введением НЭПа и первых номенкла­турных привилегий стали стреляться твердокаменные большевики, убежденные, что революцию продали и предали; с отменой НЭПа начали вешаться "совбуры"; резко возросло количество бытовых самоубийств. К 1934 году уро­вень самоубийств по сравнению с 1917 годом поднялся ровно вдвое (34 против 17), а в Москве почти втрое. В 1926 году советские самоубийцы чаще всего вешались (49,7%); на втором месте было огнестрельное оружие — после Гражданской войны его в стране было много (23,9%); на третьем значилось отравление (14,6%); са­мое последнее место занимало падение с высоты — по причине всеобщей малоэтажности. Женщины предпо­читали травиться, однако — следствие эмансипации — довольно часто пользовались пистолетом.

К концу двадцатых статистика самоубийств приобре­ла столь тревожный вид, что партия перевела ее в раз­ряд секретных, а это означало, что достоверный учет вообще прекратился — местным властям не хотелось выделяться по "негативным" показателям, и в действие вступил стандартный советский механизм приписок и "уписок": самоубийства регистрировались под видом несчастных случаев или естественных смертей. Обсуж­дение проблемы суицида в научной и массовой печати исключалось. Как сказано в предисловии к одной из советских брошюр: "Соци­ализм поднял жизнь и счастье человека на уровень выс­шей ценности, объявив непримиримую борьбу со всем, что препятствует реализации этого принципа. В таких условиях самоубийство становится вне моральных норм общества".

Лишь в середине 80-х суицидная статистика вновь стала открытой. К тому же периоду относится и быст­рый рост числа самоубийств, вызванный общим кризи­сом советского общества. К началу Перестройки СССР превратился в суицидную "сверхдержаву", достигнув коэффициента в 29,7 (в РСФСР — 38,7), что значитель­но превышало среднеевропейский и тем более среднемировой уровень. Оптимистичные общественные ожи­дания горбачевской поры сократили число самоубийств почти в полтора раза, но после того, как первоначаль­ная эйфория истощилась, зловещая кривая вновь по­ползла вверх. Лишения 90-х годов привели к тому, что сегодня в мире больше всего самоубийц, говорящих (вернее, еще недавно говоривших) по-русски.

Что касается русских мыслителей XX века, я рассмотрю двух: В. Соловьёва и Н. Бердяева.

Изучая материалы к своему докладу, я задалась следующим вопросом: но все же существует ли непреодолимая преграда на пути к суициду для тех, кто не столь безмятежен и пусть изредка, в мрачном настрое­нии, но примеряет возможность добровольного ухода к себе, или не за что уже уцепиться душе?

Безусловно, есть. Но, кажется, только за одно: за Веру. Та ее модификация, которая, видимо, единственно возмож­на для современного мыслящего человека — разумная вера.

В. Соловьёв писал: "... Когда жизнь человека не согрета верой, когда он не чувствует близости и помощи Бога и зависимости своей жизни от благой силы, трудность становится непереносимой". Жизнь без веры теряет смысл: "Они (са­моубийцы) предполагали, что жизнь имеет такой смысл, ради которого стоит жить, но убедившись в несостоя­тельности того, что они принимали за смысл жизни, и вместе с тем не соглашаясь (подобно пессимистам теоре­тикам) невольно и бессознательно подчиняться друго­му, неведомому им жизненному смыслу, — они лишают себя жизни".

Обвинения в адрес самоубийства, выдвинутые Соло­вьевым, получили дальнейшее развитие в этюде Н.Бердяева "О самоубийстве" (1931). "Борьба против упадочности и склонности к самоубийству есть прежде всего борьба против психологии безнадежности и отчаяния, борьба за духовный смысл жизни, который не может зависеть от преходящих внешних явлений", — пишет Бердяев. "Преодолеть волю к самоубийству значит за­быть о себе, преодолеть эгоцентризм, замкну­тость в себе, подумать о других и другом, взгля­нуть на Божий мир, на звездное небо, на страдания других людей и на их радости. Победить волю к самоубийству значит перестать думать главным образом о себе и о своем". Хороший рецепт, но, вероятно, многим он не под силу.

# Заключение.

В со­временной статистике смертей самоубийство почти во всех странах занимает тревожное третье место — вслед за смер­тью в результате болезни и несчастного случая (под кото­рым главным образом подразумеваются ДТП). Ежегодно себя убивают 30000 американцев, 25000 японцев, 20000 французов, 60000 россиян, а число тех, кто пытается себя убить, в 7-8 раз выше. И это при том, что статистика самоубийств всегда занижена, в нее попадают лишь яв­ные случаи. На самом же деле самоубийц гораздо больше — по оценке некоторых социологов, чуть ли не вдвое. По официальной статистике почти полмиллиона землян каж­дый год сами ставят точку в своей жизни.

А ведь XX век, при всех его потрясениях и злодеяни­ях, невероятно обустроил существование человека, окру­жил его комфортом и удобствами, невообразимыми сто лет назад — причем более всего материальный уровень жизни вырос именно в тех странах, которые сегодня ли­дируют по уровню самоубийств (Россия в данном случае не в счет — наш суицидальный всплеск 90-х годов объяс­няется чисто дюркгеймовскими, социальными причина­ми и, будем надеяться, закончится вместе с переходным периодом от одной общественной модели к другой).

В чем же дело? Что, собственно, произошло? Почему в век толерантности и социального обеспечения (водят­ся за нашим столетием и такие определения) человече­ство уподобилось енотообразному зверьку какомицли, который, оказавшись в зоопарке, впадает в депрессию и через некоторое время начинает сам себя пожирать, хотя клетка просторная, а еды много?

Причин тому множество.

Во-первых, социальные, впервые исследованные Дюркгеймом. В результате технической революции, индуст­риализации и урбанизации патриархальный мир про­шлого столетия был разрушен. Человек утратил конт­роль над непосредственно окружающим его жизненным пространством, нарушился сам масштаб взаимоотноше­ний личности и общества. Мир стал слишком большим (не деревня, а мегаполис, не артель, а фабрика, не пус­тынное поле, а людная площадь) и оттого чужим. Лю­бое социальное потрясение, любое массовое изменение общественного статуса (то, что в массовых пропорциях происходит в современной России) влечет за собой всплеск самоубийств. Самоубийцы — это щепки, кото­рыми густо усыпана земля, когда в социальном лесу вы­рубают поляны и просеки.

Во-вторых, нравственные. В XX веке у большинства землян изменилась этическая мотивация поведения. Прежде в ее основе были не подлежащие обсуждению и тем более сомнению установления религии, взывавшей не к логике, а к чувству, не к разуму, а к вере. Если церковь запрещает самоубийство — это не обсуждается. Нельзя — значит нельзя. В нашем веке стал очевиден кризис веры, подготовленный событиями XVIII и XIX веков. Это не духовная катастрофа, как кажется неко­торым, а естественная стадия развития. Человечество подросло и повзрослело, оно хочет знать, почему и за­чем, оно вышло из детского возраста, когда инструкции воспринимаются без обсуждения, на веру: надо мыть руки перед едой, маму с папой следует слушаться, са­мому себя убивать нехорошо. А почему? В XX веке че­ловечество пережило переходный возраст со всеми при­метами подросткового бунта — атеизмом, революция­ми, безумными социальными фантазиями. В почете были не послушание и доброе сердце, а ум, дерзновение и самодостаточность. Но ум и высокая самооценка — это та сис­тема координат, в которой суициду отводится важное и почетное место.

В-третьих, психологические. Если сравнивать само­ощущение нашего современника и человека прежних веков, то при внешней иллюзии большей свободы выбо­ра и поступка мы стали гораздо более зависимы от внеш­него мира. Просто его диктат из прямого превратился в косвенный, но оттого не менее эффективный. Через ап­парат массовой культуры общество все время навязыва­ет нам некий стандарт жизненного успеха, несоответ­ствие которому воспринимается как трагедия. Навер­ное, прежде стрессов было не меньше, чем сейчас, но люди были психологически устойчивей, менее изнежен­ны — выживание требовало куда больших усилий, а это делало жизнь более ценной, ибо человеку свойственно дорожить только тем, что дается с трудом.

Отсюда четвертая, на мой взгляд, главная причина. Парадокс: чем благоустроеннее становился быт человека XX столетия, тем стремительнее ползла вверх кривая суицида, спускаясь книзу лишь во время мировых войн, что и понятно — когда озверевший мир на тебя охотится, не хочется играть с ним в поддавки. "На войне, в лагерях и в периоды террора люди гораздо меньше дума­ют о смерти, а тем более о самоубийстве, чем в мирной жизни, — пишет Надежда Мандельштам. — Когда на земле образуются сгустки смертельного страха и груды абсолютно неразрешимых проблем, общие вопросы бы­тия отступают на задний план". Поразительный, но по­чему-то греющий душу факт: в Освенциме уровень само­убийств среди охранников был в несколько раз выше, чем среди заключенных. Жизненный инстинкт обостря­ется тогда, когда жизни угрожает опасность. И наоборот.

# Список литературы.

1. Э. Дюркгейм «Самоубийство. Социологический этюд», СПб, 1998 год.
2. В. С. Соловьёв «Духовные основы жизни», СПб, 1995 год.
3. Н. А. Бердяев «О самоубийстве. Психологический этюд», М, 1992 год.
4. Д. Юм «О самоубийстве», М, 1996 год.
5. Г. Чхартишвили «Писатель и самоубийство», М, 2000 год.
6. Статья «Если болит душа…», газета «Среда Петрограда», №10(25) от 13.03.02
1. Сокровенное учение — "эсотерическая" часть учения пифагорейцев, до­ступная лишь достигшим высшей степени посвящения. [↑](#footnote-ref-1)